



Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ

Гоголь и Россия

В «Переписке с друзьями» Гоголя есть замечательные слова, которые проникают в самую глубь наших современных дум.

«Вот уже почти полтора ста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения европейского, дал в руки нам все средства и орудия для дела. И до сих пор остаются так же пустынно, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашей крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге; и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный почтовый смотритель с черствым ответом: “Нет лошадей”».

Когда читаешь эти слова, кажется, точно они написаны вчера, — до того они полны современного значения. Все так же теперь мы в России словно чужие: все так же ищем и не находим родину¹. Все так же давит нас беспредельное пространство, не одухотворенное нашей культурной работой. По-прежнему тоскливо чувство неисполненного долга перед родной землей; бессильно движение вперед и безнадежно холоден ответ зрителя: «Нет лошадей».

Не те или другие преходящие черты эпохи, а сверхвременная сущность нашего народного характера выразилась в произведениях Гоголя; поэтому в них до сих пор мы можем читать печальную повесть не только о нашем прошлом, но и о настоящем России. В них все полно неумирающего значения.

Что же поведал нам Гоголь о России? Прежде всего она для него — синоним чего-то необъятного, беспредельного, «неизмеримая русская земля». Но беспредельное — не содержание, а форма национального существования. Чтобы найти Россию, надо «преодолеть пространство», наполнить творческой деятельностью ее безграничный простор. В поэзии Гоголя мы находим человека в борьбе с пространством. В этом — основная ее стихия, глубоко национальный ее источник.

С этим связаны у Гоголя все его радости и печали. Беспредельное, когда оно является нам во образе пустыни, гнетет и давит, ибо оно вызывает тоску по содержанию, которое бы его наполнило. Но в этом же созерцании беспредельного есть не иссякающий источник подъема и воодушевления, потому что оно открывает безграничный простор для жизни, движения и подвигов.

Безграничная тоска и беспредельное воодушевление, — вот те противоположные настроения, которые в связи с созерцанием русской равнины окрашивают лирику Гоголя. Гоголь признает, что это — те самые черты, которые составляют своеобразную особенность русской песни.

Особенность эта выражается в том, что русская народная песня не знает пределов ни в тоске, ни в разгуле. «В русской песне, — говорит Гоголь, — мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению унести куда-то вместе со звуками». «Еще доселе загадка, — читаем мы в другом месте, — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куда-то мимо жизни и самой песни, как бы сгорая желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания человек».

С этими особенностями русской песни тесно связана другая черта народного характера, которая также отражается в жизни и в творчестве Гоголя. Я говорю о склонности к странствованиям. В той бесконечной равнине, среди которой протекает наша жизнь, ничто не приковывает к себе человека. Благодаря самому однообразию окружающей природы он не чувствует себя прикрепленным к какому-либо определенному месту. Отсюда, в связи с бедностью жизни, — необыкновенная подвижность русского человека: чем меньше удовлетворяет его окружающая действительность, тем сильнее в нем влечение к беспредельному, тем больше манит его дальняя дорога.

Отсюда у нас — народный тип странника², с которым так часто сочетается тип богоискателя. Сочетание это — вполне естественно.

Странствования нашего народа связываются с исканием лучшей отчизны, во-первых, потому, что они чаще всего вызываются тоской, страданием, горем народным, словом — разочарованием в отчизне здешней. Во-вторых, влечение к беспредельному, хотя оно и возбуждается созерцанием бесконечного пространства, однако не находит себе удовлетворения в мире земном, где человек ежеминутно натывается на положенные ему тесные границы. Неудивительно поэтому, что среди русского простонародья странник считается Божиим человеком, причем самое хождение по земле признается делом спасительным, богоугодным.

В жизни и деятельности Гоголя мы находим эти самые черты народного типа. Он — по существу писатель-странник и богоискатель. Почти вся его литературная деятельность протекла среди непрерывных странствований; и эти странствования теснейшим образом связаны с самой сущностью его творчества, с основным делом его жизни, которое для него было делом по существу религиозным. Он странствовал, во-первых, потому, что всем существом своим испытывал тоску о России здешней, действительной, исторической, и, во-вторых, потому, что всем сердцем жаждал «Руси святой», соответствующей его религиозному идеалу.

Эти странствования были для него одновременно исканием Бога и исканием России. В «Переписке с друзьями» он объясняет, что то и другое для него — одно и то же. Любовь к Богу без любви к человеку мертва: «Как полюбить Того, Кого никто не видал?» «Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу». С этим Гоголь связывает мысль о паломничестве по России; нужно «проездить по России», чтобы ее полюбить, узнать и деятельно послужить ей. Напрасно было бы думать, что такой взгляд на религиозное значение путешествий возник у Гоголя в эпоху «Переписки с друзьями». С мыслью об его религиозном служении для него связывались все его странствования уже в конце 20-х и в 30-х годах. Уже в 1829 году он пишет матери, что Бог указал ему путь в землю чужую. Также в 1836 г. он объясняет свое заграничное путешествие предначертанием свыше. В письмах своих он вообще упоминает о своих странствованиях рядом с «уединением», «отлучением от мира», самоуглублением, молитвами.

Чтобы написать «Мертвые души», Гоголю нужно было сесть в бричку вместе с Чичиковым; уже это одно достаточно освещает

необходимую связь между творчеством Гоголя и его странствованиями по России. Но какое значение могли иметь для этого по существу национального писателя его заграничные путешествия?

Тут открывается перед нами самая парадоксальная и вместе чрезвычайно интересная черта деятельности Гоголя: искание России составляло цель его жизни, всю задачу его творчества. Но найти Россию он мог только за границей.

В известном лирическом месте I тома «Мертвых душ» он говорит: «Русь, Русь, вижу тебя; из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу». Чтобы увидеть Россию, Гоголь должен был отъехать от нее на расстояние: вблизи мелочные подробности будничной жизни заполняют собою все поле зрения и мешают рассмотреть целое. Они давят на душу и задерживают ее полет. Гоголь вряд ли мог бы вынести созерцание этой серой, неприглядной России, если бы темно-синее небо Италии не бодрило его надеждой на миры иные. Неудивительно, что впоследствии, в «Авторской Исповеди», Гоголь жалуется, что среди России он почти не увидал России. «Разъездами по государству много не возьмешь: останутся в голове только трактиры да станции». Из расспросов также много не узнаешь: ибо чуть действительная Россия заслоняется множеством разнообразных и противоречивых о ней мнений. «Словом, — говорит Гоголь, — во все пребывание мое в России, Россия у меня в голове разбивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое; дух мой упал, и самое желание знать ее ослабевало. Но, как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой».

Замечательно, что образ России как целого для Гоголя не отделялся от странствования, дороги. Известно, что она явилась ему во образе бешено скачущей тройки, которая «мчится, вся вдохновенная Богом». Он видел ее в общем порыве, в общем движении. Движение и есть то, что объединяет Русь в одно целое.

В этом образе обращает на себя внимание его незаконченность. Гоголь ясно видел, как и откуда скачет тройка; но он не отдавал себе отчета, куда она несется. С этим связано то роковое противоречие лирических мест I тома «Мертвых душ», в котором выражается вся безысходная драма последующего периода литературной деятельности Гоголя. С одной стороны, художник чувствует, что «все в России обратило на него полные ожидания очи». Родина жаждет узнать от него разгадку смысла своего существования: она ждет от него откровения нового жизненного пути. Но вместо

ответа у него у самого вопрос шевелится на устах: «Русь, куда же несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа!»

Ясно, что основная задача остается здесь неразрешенною. Сказать, что национальное существование есть быстрое движение, странствование, скачка, — значит ничего не сказать: ибо сущность движения народа, значение этой вековой борьбы его с пространством определяется ее целью. Вместо ответа на вопрос о цели Гоголь дает только изображение самого стремления к ней.

Мы хорошо знаем отношение этого движения к прошедшему русской жизни, от которого удаляется наша тройка. Позади остаются пустынные пространства и ничтожные люди — Маниловы, Плюшкины, Собакевичи, Коробочки. Изо всего этого нам ничего не жаль, и мы с радостью повторяем за Гоголем: «Черт побери все». Но настроение наше в корне меняется, когда мы задумываемся о том, что ждет нас впереди. Точно ли эта скачка в неизвестное должна освободить нас от гнетущих впечатлений? Не суждено ли нам впоследствии бесконечное число раз встречать в дороге все те же безобразия и наткнуться на тех же знакомых нам чудовищ?

Неудивительно, что этот вопрос оказался роковым для Гоголя: чтобы творить, ему надо было ясно видеть путь свой перед собой и знать, куда ведет он своего читателя. В молодости он, по собственному признанию, творил беззаботно и безотчетно: когда его давила грусть, он освобождался от нее смехом. Но с годами это соловьиное пение стало для него невозможным: под влиянием Пушкина он взглянул на дело серьезнее и относительно каждого своего произведения стал ставить вопросы: «зачем» и «для чего»; он понял, что раньше он смеялся даром. Ему стало ясно, что не себя самого надо освобождать смехом от печали: надо делать им живое общественное дело, — освобождать Россию от чудовищ, изгонять из нее бесов. Ибо смех — могущественное орудие борьбы: «Насмешки боится даже тот, кто больше ничего на свете не боится».

В «Ревизоре» наш автор задался задачей «собрать в одну кучу» все дурное, что только есть в России, все неправды, которые там творятся, чтобы одним разом посмеяться надо всем. Но на том пути, который избрал Гоголь, нельзя было ограничиться одной этой отрицательной задачей «очистки мусора». Надо было разрешить задачу положительную, — найти путь правды. Вот почему после «Ревизора» он почувствовал потребность в сочинении более полном, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться.

Вся Россия должна была предстать здесь во всей полноте своих определений, — тех высших ее свойств, которые должно ценить, и тех низших, которые заслуживают осуждения.

Так ставилась задача «Мертвых душ»; но первоначально Гоголь приступил к работе без обстоятельно продуманного плана: «Я думал просто, — говорит он, — что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создает сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными». Иначе говоря, Гоголь поступил, как те странники из народа, и которые, пускаясь в дорогу, слепо верят, что она сама приведет их в обитель, где правда живет. Но осквернены все земные обители. И без конца будет продолжаться странствование от монастыря к монастырю, пока странник не поймет, что искомой им обители на земле нет вовсе, что она еще только должна быть выстроена.

Это самое и случилось с Гоголем. Вместо «святых мест», коих он искал, бричка Чичикова заезжала в одни только «опозоренные святыни и места». Вместо «живых душ» попадались по дороге только «мертвые». Обманула его дальняя дорога, и тревога наполнила душу художника: он стал себя спрашивать: «Зачем? К чему это? Что должен сказать такой-то характер? Что должно выразить такое-то явление?»

Прав или неправ был Гоголь в такой постановке задачи? Мог ли он продолжать творить без ясно сознанной цели и без плана? Так творил впоследствии Чехов, который воспроизвел также без определенного плана великое множество хмурых, бессодержательных и ничтожных человеческих типов. Но тут-то и сказывается различие между талантом и гением. В отличие от Чехова, Гоголю было недостаточно копировать жизнь: ему нужно было вскрывать ее смысл и двигать ее вперед. Он требовал, чтобы в каждом его создании жизнь сделала новый шаг, и потому не повторялся. Чехов довольствовался изображением эфемерных созданий, которые рождаются, прозябают и исчезают как мыльные пузыри, не оставляя заметного следа на земле. Напротив, Гоголь, как он сам говорит о себе, хотел творить существенное; своим искусством он желал принести осязательную пользу себе и другим: оно связывалось у него «с делом души», с «прочным делом жизни». Поэтому он не считал себя в праве возвращать жизни людей такими, какими он их взял. И в этом его взгляд на искусство — неизмеримо глубже чеховского.

Что же помешало Гоголю в исполнении задачи, столь ясно поставленной и столь глубоко сознанный? Почему не удалось ему сознательное искусство? Иные критики объясняют это падение таланта Гоголя «религиозностью» его последнего периода. Однако новейшие исследования неопровержимо доказали, что эта религиозность была изначальным свойством его душевного склада: религиозное искание было вообще основным мотивом его творчества, и из биографии его не видно, чтобы его религиозные воззрения менялись. Странности последних произведений нашего писателя нисколько не коренятся в его религиозности; напротив, они связываются с некоторыми причудливыми отступлениями от нее. «Христианство» добродетельного помещика Костанжогло не мешает ему погружаться в материальную жизнь с головы до пяток. Это — «гуз-хозяин», который от своего христианства богатеет, как Крез, и обогащает своих мужиков. Не менее странная фигура — откупщик Муразов, который наживает миллионы на народном пьянстве и проповедует Чичикову покаяние.

Но всего поразительнее здесь односторонность взгляда на религиозный идеал; в «Переписке» он понимается исключительно как норма для индивидуальной, личной жизни; к жизни общественной Гоголь не предъявляет никаких требований. Он мирится с существующим строем до крепостного права включительно и ждет спасения общества от личных добродетелей помещиков, чиновников, и в особенности генерал-губернаторов.

Словом, Гоголь не знает христианства как живого общественного дела. И в этом нельзя не видеть победы старой Руси над художником. Для изображения правды в общественных отношениях тогдашняя государственная и общественная жизнь России просто-напросто не давала ему образов. Он мог наблюдать сколько угодно частных добродетелей, но он не мог изображать ни общественного дела, ни общественных деятелей, потому что ничего подобного в России в то время не было.

Отсюда — бьющее в глаза противоречие деятельности Гоголя последнего периода: с одной стороны, он раскрыл в своих произведениях ужасающее общественное зло; с другой стороны, от этого зла у него спасают не общественные силы, а изолированные лица. В этом, а вовсе не в религиозности Гоголя заключается фальшь всех его добродетельных чиновничьих и помещичьих типов: неудивительно, что среди крепостного права их бледная, бескровная праведность оторвана от жизни. Гоголь очутился перед

заметной снегом станцией и услышал известный нам окрик зрителя вовсе не потому, что он руководствовался своим религиозным идеалом, а наоборот, — потому, что он отступил от него, попытался совместить его с чудовищными антихристианскими порядками дореформенной России.

Необходимым условием воплощения правды в общественных отношениях является всеобщее раскрепощение, осуществление частной и общественной свободы; крупная ошибка Гоголя заключалась в том, что он этого не понимал.

Но еще ошибочнее распространенное в наше время мнение, которое, наоборот, ждет спасения общества исключительно от внешних преобразований. Именно это заблуждение составляет главное препятствие к разрешению поставленного нами вопроса, — почему Россия до сих пор не вышла из того тупика, на который наткнулся Гоголь.

Со дня смерти Гоголя прошло более полувека; с тех пор мы избавились от крепостного права и получили зачатки конституционных учреждений. Три года тому назад, казалось, от России зависело стать совсем свободной и осуществить всякую, даже самую дерзновенную мечту. Немало было в то время порывов высокого идеализма. Лучшая часть русского общества жаждала правды. И вдруг все рухнуло.

Опять мы видим Россию во власти темных сил. Сенаторские ревизии последнего времени обнажили ужасы не меньше тех, что были в 40-х годах. «Мертвые души» все еще не пережиты нами: в новых формах нашей жизни таится старая гоголевская сущность.

Чем же обуславливается столь печальный исход нашей борьбы за достойные человека условия существования? Объяснение мы найдем опять-таки у Гоголя, который, помимо способности наблюдать настоящее, обладал несомненным даром провидеть будущее. Среди полного затишья 40-х годов он видел бешеную скачку русской тройки. Ничего подобного в то время не происходило, и, конечно, тогда Россия никого не обгоняла. Тут Гоголь, очевидно, не наблюдал, а предвидел, ибо чувял народный характер. Живая душа писателя почувствовала в себе крылья, которые уносили ее от «мертвых душ»; он верил, что эти крылья рано или поздно вырастут у России.

Три года тому назад пророчество как будто бы сбылось. Тогда действительно тройка закусил удила, подхватила экипаж, сбивала с ног прохожих и наводила ужас на соседей своим молниеносным

движением. До сих пор с подлинным верно; и только окончание внесло в гоголевский текст кое-какие дополнения.

Верные национальному инстинкту кони мчались без возницы, не зная ни дисциплины, ни удержки. Не чувствуя вожжей, освободившись от всякого управления, они подчинялись только стихийному стремлению к безграничному простору и к дикой воле. Но недолговечен был порыв и скоро сменился общим утомлением. Беспорядочная скачка кого потоптала, кого устрасила. Тут, к великой радости испуганных обывателей, тройку поймала твердая, но грубая рука. С тех пор она покорно возит казенную корреспонденцию. А обывателям скорая езда воспрещена надолго.

Отчего это случилось!? Во-первых, от той экстенсивности национального характера, которая воспиталась в борьбе с пространством³, от нашей ненависти ко всему, что носит на себе печать какого-либо предела, от нашей неспособности в чем-либо себя обуздать и ограничить. Мы захотели одним взмахом перелететь безграничное пространство; когда это не удалось, у нас разом опустились руки. Русскому нужно или все, или ничего; все относительное, ограниченное его не интересует.

Другая причина неудачи — в том, что недостаточно сильна была наша вера в Россию, не было и прозрения в смысл ее исторического существования. Рабский образ России для многих заслонял ту внутреннюю, духовную Россию, то лучшее народное «я», которое оправдывает все наши жертвы. Тут опять, как и в поэтическом видении Гоголя, было видно, откуда скачет тройка, но не было вполне ясно, куда она несется. Перед нашим духовным взором было обнажено все то, что мы ненавидим; но предмет нашей любви оставался скрытым в туманном отдалении. Некоторые из нас сомневались в России, другие ее отрицали, иные отождествляли ее с тем игом, от которого надлежит освободиться. Но без веры невозможно гор передвигать. Когда ее нет, во имя чего же бороться, ради чего жертвовать собой? Вот почему так скоро уныние овладело нами и наше беспредельное пространство теперь нас не радует, а давит своей пустотой⁴.

Все те же тревоги преследуют нас, как и в дни Гоголя; все тот же неотвязчивый вопрос стоит перед нами: отчего мы до сих пор будто не у себя дома? Отчего, несмотря на многовековые усилия, русскому народу до сих пор не удалось обеспечить себе не только благоустройство, но даже сколько-нибудь сносное существование? Почему в этом отношении мы так далеко отстали не только от за-

падных, но и от восточных наших соседей? Превосходят ли они нас дарованиями? Являются ли они по отношению к нам высшими расами? Нет, но они превосходят нас своим реализмом: они ценят относительное, осуществимое и в достижении ограниченных результатов проявляют огромное упорство. Народ, родивший Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, конечно, не обделен дарами гения. До сих пор нас губило скорее отсутствие даров меньших.

Те недостатки, которые всего больше нам вредят, тесно связаны с нашими положительными качествами. Они составляют как бы обратную сторону медали. Говоря о нашей житейской беспомощности, как не вспомнить замечание Гоголя о том, что русская песнь идет мимо жизни и не обнаруживает к ней привязанности!.. Все, что было в России творчеством, всегда устремлялось к безусловному, безотносительному, горнему. В нас есть глубокий идеализм, который не мирится с духовным мещанством, с мелкими заботами о филистерском буржуазном благополучии, и в этом — ценное качество нашего народного характера. Но этот идеализм утрачивает свою жизненную силу, когда он впадает в крайность отрицания относительного: этим он лишает себя возможности проникать в нашу земную жизнь, где безусловное Добро еще не совершилось, а только совершается. Кто хочет цели, тот должен хотеть и средства: поэтому с точки зрения идеала безусловного совершенства следует приветствовать всякое приближение к добру, всякое относительное усовершенствование. Иначе самый идеализм превращается в карикатуру, становится маской для лени, удобным предлогом, чтобы ничего не делать! Если добыть себе полную свободу — не в нашей власти, то следует ли отсюда, что мы должны мириться с рабством? Если мы не в состоянии одним скачком достигнуть царства правды, то может ли это послужить оправданием той безграничной неправды, которая царит в русской земле? Если мы не в состоянии превратить Россию в Царствие Небесное, то неужели на этом основании мы должны прекратить борьбу против надвигающегося ада?

Максимализм может быть не созидательным, а только разрушительным началом. Творчество выражается не в прямолинейном отрицании всяких границ, не в утверждении той отвлеченной беспредельности, которая превращает жизнь в пустыню. Напротив, оно вносит предел в беспредельное.

Надо раз навсегда покончить с правилом: «или все, или ничего», — иначе из нас ничего и не выйдет. Можно так или иначе

объяснить нашу житейскую неумелость и беспомощность; но мириться с нею преступно; ибо это равносильно отказу от того живого дела, которого прежде всего требует от нас правда. Идеалу изменяет не тот, кто совершает к нему трудный, долгий путь восхождения, а именно тот, кто отвергает ведущие к нему ступени и, гнушаясь труда, складывает руки.

Рано или поздно в нашем общественном сознании утвердится та истина, которая в последние дни его жизни была заветной мыслью Гоголя: что путь к идеалу есть лестница. Как бы долог и труден ни был этот путь, он должен быть пройден до конца. Но, чтобы найти в себе потребные для этого силы, нам нужно всем сердцем верить в ту цель, к которой мы идем. Надо никогда не ослабевать в искании России и сквозь бедность окружающей жизни уметь различать ее идеальный, духовный облик. Когда-нибудь она победит и наполнит содержанием то беспредельное пространство, с которым она ныне борется; оно перестанет быть пустым и неприютным. В том порукой нам наше великое искусство, которое заселяет пустыню образами, — тот гениальный творческий дар, который явился в произведениях наших художников. Любовь к России родила эти чудные образы и звуки, и творческая сила этой любви доказывает, что жива Россия. По слову Достоевского, красота спасет мир. Будем же верить в тот дивный, прекрасный, новый мир, в котором само пространство станет песнью. В нем родина — навеки наша.

Тот странник-богоискатель, который всегда жил в лучших произведениях русской литературы, когда-нибудь достигнет цели своих странствований и найдет ту Россию, которую все мы ищем. И, как бы ни были необходимы внешние преобразования, ими одними это не будет достигнуто: по вещему слову Гоголя, для этого нужно внутреннее дело души, прочное дело жизни.

